

Дина
Рубина

Дина
Рубина

**Когда же
пойдет снег?**

рассказы

МОСКВА  2015

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Разработка и оформление серии *Ю. Стоцкой*

Рубина, Дина.
Р82 Когда же пойдет снег? : рассказы / Дина Рубина. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 176 с. — (Дина Рубина).

ISBN 978-5-699-82787-9

В сборник вошли «детские» произведения Дины Рубиной, посвященные самой замечательной поре в жизни каждого человека.

Несколько самых ярких автобиографических историй легли в основу сюжетов этих рассказов.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-82787-9

© Д. Рубина, 2015
© Ю. Стоцкая, оформление, 2015
© ООО «Издательство «Э», 2015

Любой мало-мальски чувствительный человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее счастливого детства. Разве что отрочество, когда душа уже требует к священной жертве, а ее никто не принимает в расчет: ни родители, ни учителя. И тогда пленный дух начинает, как говорила моя бабка, «выкидывать фортеля», ибо пленный этот дух знает настоящую цену истинным вещам — дружбе, любви, самоотверженности. Цена эта высока...

Не так давно мне пришлось побывать в Кембридже. Меня поселили в гостинице знаменитого Королевского колледжа, построенного в XIII веке, попутно обронив, что женщин в этот блестящий колледж стали принимать только в 1972 году.

— Как?! — вскричала я. — И это не в Пакистане, не в Иране, не в Индии... Это в просвещенной Англии?!

На что мне ответили с невозмутимой улыбкой:

— Но у нас и порку учеников в школе отменили совсем недавно.

Нас в советской школе не пороли. Пороли нас родители. Впрочем, тоже — не все. Меня

выпоролы только однажды, и даже не ремнем, а кухонным полотенцем, скрученным для веса жгутом (так что я сомневаюсь, можно ли эту облегченную экзекуцию назвать настоящей поркой), когда выяснилось, что я в течение полугода поддельвала в своем унылом дневнике мамину подпись. Кстати, я и сейчас неплохо поддельваю подписи, но ума не приложу — на что мне сегодня может сгодиться этот талант.

Что касается другого таланта — моего чудовищного, всепоглощающего стремления постоянно заполнять буквами и словами чистые тетрадки, предназначенные для математики и других благородных наук, — то родители считали это сущим наказанием, и мама, заслуженный учитель республики, преподаватель истории, в сердцах выкидывала испорченные тетрадки в мусорное ведро. Продолжалось это до того момента, когда однажды я послала наугад в популярный московский журнал то, что под руку подвернулось — один из моих коротких рассказов. И его опубликовали.

Судьба обернула ко мне другую, изумленную сторону своего лика. Не потому, что меня зауважали сверстники и перестали отчитывать родители, а потому, что тайное писательство вдруг превратилось в явное. Мне даже купили маленький столик, в то время совершенно не нужный: я ведь и рассказы писала, и уроки готовила лежа на животе, на своем кургузом топчане в углу «детской».

Стоит ли говорить, что персонажами моих подростковых творений становились все, кто попадал в обзор: учителя, одноклассники, дворовые друзья и соседи, мамы сослуживцы, знакомые собаки и кошки, и прочая живность на окрестных улицах.

Развивающееся дарование ведет себя точно так же, как растущий организм — жрет все подряд, не знает, куда деть неумемную энергию и сеет вокруг хаос и возмущение близких...

Но что делать, если эту белиберду печатает московский журнал?!

Знакомые говорили маме:

— Не могли бы вы проверить то, что ваша дочь посылает в журнал? Нельзя ли в следующий раз... э-э-э... вычеркнуть то, что она напишет о Владимире Львовиче, все же он завуч?

Но к тому времени я уже превратилась в неприкасаемую фигуру: под обложкой московского популярного журнала сияла моя задорная шестнадцатилетняя физиономия и чеканно выстроились буквы моего — не простого, а уже литературного — имени.

Вот когда меня стоило бы выпороть. Но было поздно. Великая сила печатного слова уже вершила свою работу...

Я никогда не включаю в сборники рассказов те первые свои опусы, опубликованные в журнале «Юность». Даже не потому, что они не представляют литературной ценности. Просто этот торжествующий щенячий визг надо оставить там, на страницах моей подростковой самоуверенности и упоенности победой.

И только когда пришла ко мне первая неудача — несчастная, как и положено ей, юношеская любовь; когда в моих текстах появилась насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром, — только тогда мои ранние рассказы и повести заслужили, на мой взгляд, читательское внимание...

Ваша Дина Рубина

Дом
за зеленой
калиткой

До сих пор не могу понять, что же заставило меня эти дурацкие штучки взять... Забрать... Да что там церемониться! — украсть.

Да-да, налицо была кража. Пусть ерундовая, пусть совершенная восьмилетней девчонкой, но все же кража. Было бы понятно, если б я использовала их по назначению. Все знают, какой интерес проявляют даже маленькие девчонки ко всякой косметической чепухе. Так ведь нет! Я вытряхивала вязкий яркий брусочек губной помады сразу же, выйдя за калитку, — наивная неосмотрительность! И тут же, прополоскав блестящий патрон в прозрачной воде арыка, мчалась домой, ужасно довольная приобретением.

Смешно сказать! Меня волновал прекрасный, как мне казалось, женский профиль, выбитый на крышке патрона. Четкий античный профиль с малюсенькими пластмассовыми кудряшками. И забавлял стаканчик, действовавший в патроне как микроскопический лифт. Он подавал вверх оранжевый столбик помады к толстым морщинистым губам учительницы.

Она это делала с аппетитом. Когда мое и без того немощное внимание совершенно оскудевало и моя кофта, покрытые цыпками руки с обгрызанными ногтями, нос и язык начинали интересоваться меня явно больше, чем клавиатура и нотная грамота, учительница вздыхала, протягивала к

окну белую ватную руку и, достав из-за решетки патрон с губной помадой, приступала.

— Ну, навай... навай... — лениво бормотала она, глядя в маленькое зеркальце и священнодействуя над губами — то округляла их бубликом, закрашивая углы рта, то сочленяла, старательно вымазывая верхнюю губу о нижнюю. — Четвертым и пятым пальцами попеременно... Они никуда не годятся... Раз-и, два-и... Считай вслух!

Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы.

Они были не только отвратительны сами по себе — слабые, путающиеся между черными клавишами, они еще были предателями и притворщиками. В обыденной жизни эти пальцы ничем не давали знать о себе, не выпячивались, не лезли не в свое дело.

Стоило же только им завидеть клавиатуру — наглей и противнее четвертого и пятого пальцев на свете ничего не было. Они нажимали не ту ноту, а если и попадали, то слишком слабо. Быстро играть они не могли, а если требовалось, то за компанию прихватывали с собой массу ненужных звуков. Даже если у них не было своего дела в данный момент, они просто нахально торчали в разные стороны, как сломанные велосипедные спицы.

И вообще я прекрасно сознавала, что мне в жизни не подняться до таких высот, как «Элизе». Учительница изредка присаживалась к инструменту и каждый раз играла одно и то же — прекрасную и труднейшую, как мне казалось, пьесу Бетховена «Элизе». Лицо ее в эти моменты вы-

ражало лень и спокойствие, она как бы говорила: «Видишь, бестолочь, как можно играть!» И действительно, играла хорошо, хотя было совершенно непонятно, как умещались ее толстые пальцы на клавишах.

Нельзя сказать, что я ненавидела занятия музыкой или не любила учительницу. Мое отношение к этому делу можно было бы назвать чувством обреченности. Так было нужно — заниматься музыкой, как мыть руки перед едой, а ноги перед сном. Уж очень мама хотела этого. К тому же мы успели купить инструмент, а бросить занятия при стоящем в доме инструменте было кощунством. Мне передавался мамин священный ужас перед торчащим без дела инструментом, словно он мог служить укором не только маме, но и мне, и даже когда-нибудь моим детям. Таким образом, моя музыка убивала двух зайцев — оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое «арычное» время.

Дом учительницы находился в нескольких трамвайных остановках от нас. А поскольку я из дома выпускалась мамой с космической точностью, то почти всегда попадала на один и тот же трамвай с веселым кондуктором. То есть он не был веселым, он был как бы веселым. И покрикивал всегда одно и то же:

— А ну, кто храбрее, кто смелее? — и зорко поглядывал на пассажиров. — Кто билетики возьмет?

Пассажиры смеялись и брали билетики. И никто, казалось, никто, кроме самого кондуктора да

еще меня, не замечал эту подлую, низкую игру, это издевательство над людьми и презрение к ним. А между тем было совершенно очевидно, что подразумевалось под веселым покрикиванием.

«Это как будто я с вами шучу так, канальи... — подразумевалось. — Но ведь и вы, и я понимаем, что все вы ба-альшие мерзавцы и норовите проехать бесплатно, пока вас не прижмешь».

Подразумевалось еще много другого, чего я выразить и объяснить самой себе не могла, но остро чувствовала.

Вообще в то время я очень остро чувствовала не только всяческую ложь и натянутость в отношениях между людьми, а даже весьма критически относилась к некоторым общепринятым между взрослыми словам. Многое меня коробило и приводило в сильнейшее недоумение. Так, например, когда однажды папа, рассердившись на моего дядю, крикнул: «Ноги моей не будет в этом доме!» — я, помню, сильно удивилась и долго размышляла над тем, почему мой честный и в общем-то толковый папа несет такую дикую чушь. Ведь можно сказать просто: «Больше я туда не приду». По этому поводу я представляла почему-то, как папину ногу осторожно и бережно отделяют от него и торжественно несут куда-то, а папа, обнаружив ошибочность маршрута, отчаянно машет руками и кричит: «Нет-нет! Не туда! В этом доме ноги моей больше не будет!»

Маленький, в две комнаты, с застекленной терраской дом, в котором жила учительница с мужем, завершал собой тихий тупичок.

Толкнув изумрудно-зеленую калитку, я попадала во двор, который нес на себе отпечаток некой тайны. Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчики»; круглый, лиловый, с прожилками «крымский»; черный «бескосточный»...

Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем.

Вспугнутые ветерком листья о чем-то суетливо лопотали, тщетно пытаясь спрятать редкие солнечные блики. Ослепительные белые блики плясали по рыжему кирпичу дорожки, по моей неприкрытой макушке, по нотной папке.

К деревянным перекрытиям всегда была приклонена грубо сколоченная лестница. На ней неизменно стоял муж моей учительницы, — грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих бриджах и голубой майке. Он все время возился с виноградом — срезал спелые гроздья, подвязывал лозы. Иногда я видела его на крыше.

Наверное, он и там контролировал тайную виноградную жизнь.

Муж моей учительницы был удивительным субъектом. Он никогда не замечал меня, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия, продолжая свою нескончаемую возню с виноградом. Но